

С Виктором Ефимовичем Ардовым (1900—1976) я часто встречался в конце 60-х и начале 70-х годов на заседаниях Московского клуба экслибристов, членами которого мы оба были. Проходили эти заседания тогда в старом еще Доме художника на Кузнецком мосту. И Виктор Ефимович, видя на моих экслибрисах изображение Сергея Есенина, вспоминал о своих встречах с поэтом. Рассказывал он и о той версии гибели поэта, которую он слышал от Сергея Клычкова. Позже у меня появился машинописный экземпляр воспоминаний В.Е. Ардова, который, к сожалению, не попал в его мемуарную книгу «Этюды к портретам», увидевшую свет в 1983 году. А его «Два слова о Есенине» представляют несомненный интерес для поклонников творчества великого поэта России.

Ю. ЮШКИН

Я бы не имел права братья за перо, чтобы писать о Сергее Есенине, ибо мое знакомство с ним было классическим «шалочным», с притом это было знакомство одаренного поэта с юной, едва начинавшей свой путь журналиста и литератора, — но мне кажется, что в воспоминаниях и статьях о Сергее Есенине начинают пропадать какие-то черточки, очень важные для его характера; утрачивается даже перспектива — многое из того, что существовало вместе с поэтом, что составляло часть его самого, приобретает смысл и трактовку не совсем верные.

И вот ради того, чтобы отметить несколько черточек в облике поэта, я пишу эти строки.

Примерно с двадцатого года помню на улицах Москвы, в пресловутом «Кафе поэтов» (а позднее — в «Стоиле Пегаса»), куда я проникнул в качестве литературного «болельщика», как сказали бы теперь (сам я еще ничего не писал), на диспутах в театрах и Политехническом музее, неповторимую фигуру Есенина. Фотографии, в общем, верно передают лицо поэта. Разумеется, фото не может воспроизвести удивительный цвет его волос, эту вечно движущуюся (словно живущую своей отдельной жизнью) розово-золотую прядь волос надо лбом. Не могут снимки отразить и живость мимики, переменчивую игру выражений на этом некрасивом и очень деревенском лице.

Трагический конец Есенина в соединении с лиричностью его стихов как-то приучили широкие массы читателей видеть в нем фигуру чуждую ли не от мира сего... А в действительности основным тоном в облике Есенина была этакая мужицкая хитринка. Об этом писали уже. Но писания эти ныне оторваны потоком суровых критических отзывов либо — старинный прикрас поэта — по мемуариам сего дня...

Последние два года своей жизни Есенин воистину проводил в угаре ежедневного пьянства. Это было самоубийство, растянутое на месяцы и годы и завершившееся петлею в гостинице «Англетер».

Но в двадцатом году не хмель играл главную роль в поведении поэта. И было оно шумным по другой причине.

Для того, чтобы современному читателю объяснить источник этого «шумства», надо сказать кое-что о традиции поэтической нескромности... Да, да: именно о традиции.

Эта традиция имеет свою историю и не только у нас, но и в некоторых других странах. Насколько мне известно, никто и никогда не попытался осмыслить, если можно так выразиться, этические и эстетические нормы поведения поэтов в тот или другой период истории. Между тем, без такого анализа невозможно до конца понять многое в поведении не только Есенина, а и других литераторов.

Итак, классической традицией в поэзии прошлого века была так называемая поэтическая «скромность». Полагалось добрыми нравами литераторы, если поэт несколько даже унижает себя перед своей аудиторией. Это не мешало существованию темы — тоже традиционной — об извечном разрыве между поэтом и «чернью», «филистерами».

И с филистерами, и с чернью также надо было вести скромно и не выхвалять своего таланта, своих произведений...

Уже символисты нарушили эту традицию. Правда, это поколение больше эпатировало публику содержанием стихов, нежели поведением автора. Но уже футуристы повсеместно — и в Италии, и во Франции, и у нас взяли тон открытого презрения к аудитории. Тут не место долго анализировать причины такого факта. Отметим только, что принцип контраста с предыдущими поколениями сыграл большую роль и в знаменитой «желтой кофте», и в примитивных лицах, и в ложах в петлицах и во всем прочем.

Литературная группка имажинистов, к которой примыкал Есенин (а надо сказать, что сам-то он всю жизнь искренне верил, что он — только сочлен этой группы), возникла под влиянием футуристов. Логически рассуждая, она должна была пойти еще дальше футуристов в своих обычаях и поводах.

* Конечно, и тут бывали исключения — например, в поведении французских романтиков.

Имажинисты так и сделали. Время было такое, что особенно за порядком в литературных делах наблюдать было некому. Вечера Северянина или Маяковского с Бурлюком и прочих футуристов опекали царские полицейские.

Есенин, Мариенгоф, Куисков, Щершеневич в сущности были свободны в годы гражданской войны и нэпа и от цензуры и от милиции. А хотелось перекрыть футуристов. И бурлила молодость. И просто хотелось посмеяться...

Вероятно, из-за этого естественного в юности желания похулить, посмеяться и сверкала в небольших голубых глазах Есенина веселая смешинка. Но смешок был хитрый. Потому что чудили имажинисты явно в свою пользу; во всех наращениях литературных и бытовых приличий, во всех откровенных утверждениях своей талантливости присутствовал элемент расчетливой саморекламы.

Вот написал я это слово и подумал, что иной из читателей — поклонник действительно выдающегося дарования Сергея Есенина — почтет меня просто клеветником, поскольку я возвожу такое серьезное в наши дни обвинение на любимого поэта... А я ничуть не клевету. Скажу больше: в те дни элемент саморекламы почти неизменно присутствовал во всех поэтических выступлениях. И в какой-то мере это зависело от полной невозможности нормально печататься. Книжки стихов не выходили. А если выходили — то контрабандой и тиражом сотни в две-три...

И еще скажу: озорство и нескромность футуристов имели напыщенный, демонстративный характер. Они как бы подчеркивали, что нарочито нарушают правила хорошего тона и «добрые нравы литературы», предписывающие поэтам скромность. А вот имажинисты — те уже переняли это нарушение правил скромности, как нечто само собой разумеющееся, обыденное. В дерзостях, которыми награждали свою аудиторию Мариенгоф, Щершеневич и сам Есенин, не было «пафоса» предыдущего поколения. Они озорничали привычно или равнодушно.

В 20-м или 21-м году (во всяком случае — до объявления нэпа) мне довелось в который-то раз быть в числе вечерних посетителей пресловутого «Кафе поэтов» на улице Горького, 18 (ныне этого дома не существует). Кафе описано неоднократно в воспоминаниях и очерках. Тем не менее полагаю нелишним напомнить, что это пристанище поэзии было разукрашено очень «левыми» рисунками, цитатами из стихов поэзобористей. При входе на стене висели, как вышитые полотенца в крестьянских домах, — старые бюрки Есенина...

А в сущности кафе было резиденцией Союз поэтов, который долгое время возглавлял В.Я. Брюсов. Я неоднократно видел там этого немолодого уже сравнительно корифея наших символистов. И заметьте, что в те годы Брюсов был директором созданного им Литературного института и заведовал отделом литературного образования в Наркомпросе...

Но в тот вечер, о котором я хочу рассказать, было довольно скучно в кафе: литературная программа, намеченная на сегодня, оказалась мало интересной. И посетителей, которые за большие деньги вкушали пшеничную кашу-размазную, небольшие ломти черного хлеба, суррогатный кофе и нелегально выпеченные на стороне пирожные, посетители тоже было немного.

На эстраде в углу большого магазинного помещения читал стихи «поэт» Ипполит Соколов... В те годы Соколов писал механические, сказал бы, стихи со значительным количеством неспристойностей. Это была не столько порнография, сколько откровенная физиология. И надо заметить, что такого рода сочинения никого не удивляли: многие стихоплеты прибегали тогда к различным способам привлечь интерес к своему творчеству. Пользовались для сего и непристойностями...

Но так как читал Соколов скучно и непристойности у него были неаппетитные, то слушатели перестали уделять ему внимание. Зал гудел, как в антракте: люди разговаривали вслух на свои темы.

Соколов остановился и попросил официанта пригласить дежурного члена правления Союза поэтов. Официант скрылся во внутренних помещениях, и очень скоро вышел дежурный член прав-



Виктор Ардов

ДВА СЛОВА О ЕСЕНИНЕ

ления. Это был Есенин. Почти что зевая, затрепетавшим голосом он спросил у Соколова:

— Чего тебе?

— Не слушают, — пожаловался Соколов, — галдят...

Не отходя от двери, ведущей во внутренние помещения, Есенин обратился к притихшему с его появлением залу: — Слушайте, вы, фармацевты! Раз пришли сюда, надо слушать! (Фармацевтами в те годы принято было называть интеллигентов, тянувшихся к искусству и литературе; эта презрительная кличка возникла давно и к 20-му году получила широкое распространение.)

«Фармацевты» никак не реагировали на такое обращение Есенина. Но притихли. Соколов снова начал читать. Есенин послушал строчек пять и ушел туда, откуда появился.

А шум постепенно стал возрастать. И вот опять уже Соколов просит официанта позвать «дежурного члена правления».

Еще раз появился Есенин. Выслушал повторную жалобу Соколова и с раздражением сказал аудитории:

— Вот что: вы либо слушайте, либо идите все к...

Я никогда ни до того, ни после не слышал, чтобы так отчетливо и спокойно большой группе людей, находившихся в общественном месте, предлагали идти по столь явственно высказанному адресу. Есенин отчеканил все слога и буквы площадного выражения.

Разумеется, это вызвало негодование слушателей. Зал загудел. А сам Есенин, зевнув, повернулся спиной к аудитории и ушел опять. По его лицу видно было, что он ни в малой мере не тревожится по поводу своей грубости...

Среди писателей был этаким полукавалерийского вида интеллигент в красных галифе, в пенсне, с лысиной, прикрытой зачесом, и выражением большого самодовольства на восторженном лице. С ним сидела дама, и оба они так ворковали, что сразу было видно: здесь — роман в самой начальной стадии. Естественно, что этот человек обиделся на грубость Есенина больше всех. Он немедленно направился к телефону и вызвал караул с целью проверки документов присутствующих и ареста обидчика. (В те времена вызвать наряд из комендатуры или чека было сравнительно легко для лиц, прикосновенных к соответствующим органам; бдительность, как мы теперь говорим, была на высоте.)

Помню, что обладатель галифе и пенсне шумно возмущался. Волновались, правда, гораздо меньше, и другие посетители. Но Есенин ничего этого не видел и не слышал. Он, как выяснилось впоследствии, сразу ушел домой задним ходом, т.е. ему надоело дежурить...

А уже подошел караул. Побавили часовых у обоих выходов из кафе и начали

проверку документов. Задержали человека шесть видов отсутствия документов и по другим поводам. Я лично вернулся домой в половине третьего утра. Но Есенин никак не ответил за свои слова...

Этот эпизод характерен для того озорства, каким отличались имажинисты. Но рядом с этой холодной расчетливой грубостью я постоянно наблюдал у Есенина и иронию по отношению к самому себе и к своему поведению.

Сколько бы раз я ни встречался глазами с Есениным (а за годы 1920 — 25 я видел его несколько десятков раз; иногда просто здоровался с ним, а иногда и разговаривал — правда, недолго и не на очень значительные темы), я всегда легко читал в его глазах рядом с усмешкой еще и некоторую долю именно смущения передо мною — заметьте, очень случайным и совсем неавторитетным для него человеком — за шумливость и саморекламность его поведения.

На этом я настаиваю решительно. Я до сих пор могу представить себе смущенную улыбку и смущенно-иронический взгляд поэта, ненадолго обращенный на меня. Чем это объяснить?

По-моему, дело тут в том, что Есенин «шумел» (кстати, он сам очень любил именно это слово; свои скандалы, выступления и прочее он так и определял: «надо пошуметь», «вчера пошумели» и т.д.) расчетливо и систематически, но было это для него не слишком органичным. Известно, что он полагал, будто

одними стихами к славе прорывешься. В книжке Мариенгофа, местами чрезмерно циничной, но безусловно правдивой, очень хорошо показано это неистребимо чисто биологическое стремление нашего поэта к популярности. Но особенно смущенную улыбку увидел я на лице Есенина в 23-м году, когда он по возвращении из-за границы (где он провел что-то около года в браке с Айседорой Дункан) явился на свой творческий вечер в большую аудиторию Политехнического музея.

По праву сотрудница театральной печати я находился за кулисами — в комнате для выступающих — в тот момент, как Есенин явился туда с некоторым явным задумчивым опозданием. Публика уже нетерпеливо гудела за дверями в круто поднимающемся вверх зале. Устроители начинали тревожиться.

И вот тут-то за кулисы стремительно вошел — почти вбежал Есенин. Он был одет, как одеваются в Париже или Лондоне при посещении оперы: фрак, цилиндр, черная шелковая пелерина на белой подкладке и трость с золотым набалдашником в руке. Прошу учесть, что я не забыл и не спутал ни одной детали в его костюме.

Кстати, в 20-м году в голодной Москве гражданской войны я тоже видел Есенина в цилиндре. Историю этого наивного цилиндра 20-го года рассказывает Мариенгоф: он с Есениным из простого озорства приобрели по ордеру на головные уборы круглые шляпы, принятые в капиталистическом мире. И носили их в сочетании с толстовками, куртками а ля Пьеро и просто пиджаками...

А на сей раз передо мной за кулисами Политехнического музея стоял человек, одетый с заграничной роскошью. И вот тогда — в Политехническом музее — я увидел такое смущение на лице Есенина, что даже растерялся. Было рядом с этим смущением и наивное, деревенское, сказал бы я, хвастовство простого парня, который в родную деревню из города приехал в неслыханном для деревни костюме. Но все забивала эта улыбка...

На Есенина накинудили администраторы, друзья, поклонники и поклонницы. Вместе с другими я скоро ушел в зал и слышал выступление поэта. От выступления осталась у меня в памяти характерная фраза. Очевидно, имея в виду Маяковского, Есенин сказал:

— Вот у нас есть любители хвалить машины и большие города. Ну, побывай в этих городах, насмотрелся на машины... Там жить нельзя! Если бы эти любители машин туда ответили и заставить жить, они бы сами удрали обратно хоть к нам в Рязанскую губернию!

Так и слышу я эти слова. И видно, очень важно было для поэта сказать слово осуждения урбанистических настроений того времени. Пожалуй, ничто

ЧТЕНИЯ



С. Есенин. Дружеский шарж В. Ардова

другое в тот вечер он не говорил с такою убежденностью...

А если говорить обо всем его облике, то Есенин с его явной одаренностью, словно бы сочившейся из его существа, с его жесткостью в озорстве и даже просто — в быту, производил такое впечатление: вот — деревенский гармонист, ерник и весельчак, забавлявшийся столь грубо и беспошадно, что, пожалуй, другому ни за что не простили бы этакое хулиганство. А гармонисту сходит с рук и будет сходить: уж столько хорошо он умеет орудовать на ста кнопках своего баяна.

Как заиграет, так все сразу простят обиженные им люди; и девки, отвергнутые им, осрамленные безжалостно при всем честном народе, даже битые им, не имеют силы отойти от лавочки, где расположился кучерявый их обидчик со своим словно ожившим под его пальцами инструментом. И невольные улыбки исторгают вокруг себя немислимыми трелями рассыпавшийся сквозь тяжелую одышку мехов потерявший баян. И слезы проступают у слушателей, когда гармонисту взгрустнется вдруг и пожелает он свою грусть выразить тут же — сейчас — после веселых переборов...

Да, именно таков был Есенин в самой своей сути. И даже странно было наблюдать всю его деревенскую повадку в самой рафинированной среде столичной интеллигенции.

А ведь именно здесь жил и действовал, очаровывал и отпугивал от себя эрот полнокровный представитель рязанского села...

Еще одна живая картинка. В поэтическом кафе «Стоило Пегаса» Есенин и Мариенгоф были хозяевами. Это было уже во время нэпа. Очевидно, друзьям захотелось отделиться от всех иначе мыслящих литераторов и самим отвечать за порядок и программы своего «заведения». Ну, вот и сняли они бывшее кафе «Бом» на углу Малого Гнездицкого переулка и улицы Горького (тогда еще — Тверской); ныне этот дом снесен и улица сильно отодвинута. В кафе был буфет с горячими блюдами и напитками, сданный в аренду друзьям. Было что-то вроде оркестра. Проводились и поэтические выступления имажинистов.

Я посещал иногда это «Стоило». И вот, помню, как-то в компании друзей зашумел по поводу очередного номера музыкальной или литературной программы.

Возле нашего столика очутился Есенин. Он дружески сказал мне (передаю дословно):

— Ну, вот... свой тип, и кричите. А с нас милиция требует...

(Слово «тип» тогда было модным и не являлось обидным.)

Я засмеялся и замолчал. Засмеялся и Есенин.

Не могу сказать, что написанная выше фраза свидетельствует о большой дружбе поэта с мемуаристом — то есть со мною. Но я с самого начала оговорил, что отношения с Есениным были у меня случайными. А привел я здесь этот эпизод, потому что он очень характерен для Есенина 22-го года (до отъезда за границу).

Летом 23-го года еще существовало в Москве своеобразное артистическое кафе «Нерыдай». Когда-нибудь надо будет рассказать об этом кабаке, где служил Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Рина Зелена, Вера Инбер, Виктор Тютун, пишущий эти строки и многие другие артисты, литераторы, художники, режиссеры...

Но в тот летний вечер я был гостем в «Нерыдае» и сидел за так называемым «артистическим» столом, где подавали блюда подешевле и веселилась наша братия. В тот вечер с нами рядом сидела артистка А. Миклашевская — женщина поразительной красоты. Ей посвящены многие стихи Есенина. А тут и сам поэт пришел в «Нерыдай» (очевидно, услышавший о том заранее с Миклашевской). Он сел с нами. Весь вечер шла веселая и милая беседа. Есенин трез-

вый, добрый, смешливый и, когда он ушел с Миклашевской, мы все единодушно восторгались им именно с этой стороны. А в 23-м году он уже чаще бывал недобрим и нетрезвым.

Помнится, я нарисовал в тот вечер профиль Есенина. И словно бы получилось похоже. Меня упростило отдать ему рисунок один мой приятель — журналист, собиратель рисунков и автографов. Он клялся, что у него этот рисунок, под которым сам Есенин подписался в знак признания сходства, будет сохранен. Но уже в 30-х годах приятель мой признался, что портрет Есенина им утерян...

Надо, несомненно, сказать еще и о том, как Есенин читал свои стихи. Хотя это несколько раз описано, думается, есть смысл и мне изложить свое впечатление...

Стародавний спор между поэтами и чтецами (на стороне которых — широкая публика): надо ли подчинять содержание стихов их ритму или на первое место выдвигать интонации бытовые, патетические и прочие?.. — с моей точки зрения — спор бессмысленный. Подлинный поэт никогда не станет читать, как артист-исполнитель.

Для автора его стихи нечто органически слитое с ним, такое естественное и неизменное, неповторимое выражение возникших однажды у поэта ритмических напевов (слышь и рядом появляющихся раньше, нежели слова стихотворения), что никогда автор не станет придавать первоначальное значение разъясняющим интонациям. По свидетельству современников, и Пушкин и Лермонтов скандировали свои стихи, а не пытались дополнить интонациями их сюжеты.

Если кто-нибудь помнит, как музицирует настоящий скрипач, пианист, композитор, то несомненно он отметит очень важное обстоятельство: настоящий музыкант испытывает от звуков, им извлекаемых, гораздо больше непосредственного наслаждения, нежели самый чуткий его слушатель. Мне неоднократно приходилось наблюдать это чувственное слияние с музыкой у концертанта...

Нечто подобное происходит и с поэтом, особенно — читающим им сочиненные стихи. Иногда это совпадает с умением заразить аудиторию, то есть с умением подать свои стихи так, что они делаются нужными и приятными для слушателей; таков, например, Пастернак. Его чтение собственных сочинений безмерно их обогащает и толкает аудиторию беззастенчиво. Другие поэты остаются одни со своим волнением и ощущением стихов: публика не принимает их манеры и не разделяет мыслей и эмоций вещи. Бывает у поэтов и нейтральное чтение, которое не мешает, но и не помогает аудитории...

Разумеется, такой эмоциональный и органичный в своем творчестве поэт, как Есенин, читал для себя, а не для публики. Но и воздействие его чтения на слушателей было огромное, несмотря на то, что Есенин скандировал очень напряженно, бытовых и декламационных интонаций не признавал.

Когда Сергей Есенин окончательно вошел в стихию своей поэзии (а это происходило почти сразу после начала чтения, ибо возбудимость и темперамент его были очень велики), перед нами появлялся как бы простой русский мужик, одержимый потоком чувств и мыслей необыкновенно конкретных. Что-то было в этом от хлыстовских рдений: такая же тут игра сила, независимая от человека, его охваченного; такая же бурный и четкий возникший ритм; так же глубоко национальны были интонации напева (а не артистические украшения или игры в бытовое правдоподобие). Крестьянская суть поэта представляла перед слушателями удивительно цельную. Отлетали все фатовские и озорные повадки Есенина в жизни. Холодная погоня за славой словно и не существовала никогда для этого молодого посланца...

Певучий тенор поэта разливался в звуковых узорах, похожих на причитания над гробом либо еще какие-то древние обряды на Руси. И тут внезапно оказывалось, что самое содержание стихов плотно слито именно с такой манерой исполнения. То, что критики вежливо и прохладно называли необычной для поэзии, новой точкой зрения на пейзаж, на ощущения и чувства автора, не пытались идти дальше определений, что тут, мол, сельская лирика, — это все вдруг обрело характер удивительной конкретности.

Да, в чтении Есенина явственно проступала вещьность, реальность его видения мира. Мы ведь знаем поэтов, у которых рядом с картинными действительности большое место занимают категории философские — во всяком случае мыслительного порядка; у которых даже любовь или восприятие пейзажа обременены формами рассуждений...

А вот стихи Есенина в исполнении

Есенина делались еще более «весомыми, грубыми, зримыми»... Становились понятными иные его образы, которые в книжке производили впечатление неудачных — то есть сочиненных в заранее намеченной для себя манере, не всегда пригодной к осуществлению. Иной раз эта манера обогатила строку, а иной раз — окажется надуманной. Ну, скажем, «кленочек маленький матке зеленое вымя сосет», это хорошо. А вот «провод голубая солома» звучит не совсем убедительно...

Так вот в авторском чтении все становилось органичным и убедительным. Отпадали мысли о том, что Есенин напрасно уродует свое дарование, чтобы опровергать напыщенное наименование своей литературной группы; ведь «имажинист» это — от слова «имаж» (французский яз.) — «образ». Приоритет образа имажинисты декларировали неоднократно и всесторонне. Но кроме Есенина никто из них не умел пользоваться поэтическими образами в полную силу. И вообще: зачем говорить, что в основе творчества только данной группы лежит образ? Будто бы другие литературные школы могут обойтись в стихах без образов!...

Слушатели подпадали под обаяние есенинского чтения безошибочно. Покоряло и то, что всем становилось ясно: самому поэту это оглашение стихов очень важно и волнительно. Не холодный шаман крикливо у нас на глазах. Нет. Для поэта чтение его произведений гораздо более значительный акт, нежели для нас — слушание этих строк...

А Есенин, помогая себе рукой, вытянутой вперед, скандирует все громче и громче. Рука словно ошупывает все те вещи, о которых говорится в стихах. Она то опущена ладонью книзу. То поднялась так, что в нее можно положить облако или листья деревьев. То гладит воздух, как плоть людей и животных...

И вот уж скептики (а таких при жизни Есенина было гораздо больше, нежели поклонников его дарования) умолкли. По лицам, еще недавно сохранявшим иронически-кислое выражение, пробегают тревога невольного волнения. А поклонники Есенина — те покорены открыто и всецело...

Стихотворение кончено. Есенин грубым жестом вытирает пот со лба. Опять-таки это — крестьянин, который закончил свою важную и любимую работу. Стесняться и жеманничать ему неучем... Поэт отходит в глубь эстрады, не удаляясь от публики на два-три метра, а еще не пришел в себя от пережитого подъема. И потому суетные привычки городского литератора еще не вернулись к нему...

Замолкли просьбы биса. Читает другой поэт. Есенин, сидя за столом президиума, медленно возвращается к обыкновенной жизни...

В заключение хочу привести высказывание о смерти Есенина, которое сделал его друг — поэт Сергей Клычков. Вышедший читатель забыл этого по-своему одаренного писателя, ушедшего из жизни в 37-м году. Клычков полагался, в какой-то мере справедливо, поэтом кулацкого уклада. А с Есениным его связывала и старинная дружба и общность сельской тематики.

Я же, поселившись в доме писателей на улице Фурманова, оказался соседом Клычкова. Отсюда и возникло несколько встреч с этим человеком.

Так вот однажды Клычков по собственной инициативе со слезами на глазах рассказал мне свою версию гибели Есенина. Он говорил так:

— Сережа любил привлекать к себе внимание. Если он месяца два чего-нибудь не найдется, то непременно говорит: пора, пора, друг, нас уже забывают... надо как-нибудь «пошуметь»... И я вполне уверен, что самоубийство Есенина было задумано тоже, как прием для создания очередного шума вокруг имени поэта. Он не хотел повиснуть на самом деле! Голову отдаю: Есенин рассчитывал на то, что дружок его Вольф Эрлих (которому посвящены знаменитые строки «До свиданья, мой друг, до свиданья...») вынет его из петли. Потому он так поздно и повесился. Он ждал, когда услышит шаги Эрлиха в коридоре гостиницы; тут и сунул голову в петлю... Только он просчитался; в том дальнем отрезке коридора, где был номер Есенина и Эрлиха, ночью возвращался жилец в соседний номер. А Есенин считал, что это может идти только Эрлих, и погубил...

Клычков, повторяю, плакал, говоря это:

— Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с есенинским номер в три часа ночи... А Сергей не мог убит себя, не мог!

Мне трудно обсуждать эту версию: я был далек от Есенина в те страшные для него дни. Но думаю, надо привести здесь слова Клычкова, которого, несомненно, теперь уже нет в живых.